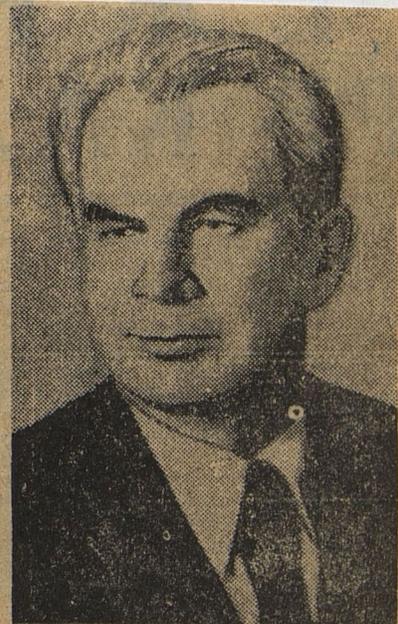


Наш календарь

# Я ТВОИ, ЖИВОЕ ВРЕМЯ...

К 80-летию В. А. ЛУГОВСКОГО



Природа щедро одарила Владимира Луговского: был он высок, широкоплеч, красив той сдержанной и строгой мужской красотой, что свидетельствует о внутренней гармонии. Густые сросшиеся брови вразлет, богатый модуляциями бархатистый бас, когда читал стихи или пел о Стеньке Разине... «Бровеносец Луговской» из знаменитого шаржа Кукрыникова, «Кентавр Революции» — из программной статьи о конструктивистах К. Зелинского, «Наш Дядя Володя» — из воспоминаний благодарных учеников — К. Симонова, М. Луконина, С. Смирнова, М. Алигер, Е. Долматовского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского и многих других (В. Луговской вел семинар поэзии в Литинституте)...

Щедрая отзывчивость души на чужую боль и радость, страстная жажда революционного обновления жизни, до конца дней сохранившаяся юношеская «охота к перемени мест», легкость на подъем, — все это, сплавленное талантом большого художника, отлилось в чеканные строки, ярко воплотилось в высокой поэзии Луговского.

Мне уже приходилось писать об этом: лет двадцать назад я около месяца работал в кабинете Владимира Александровича — в доме, что в Лаврушенском переулке, напротив Третьяковки. Он любил эту огромную комнату, и вес в ней было податливо хозяину. Он незримо присутствовал в каждой вещи. В книгах, что теснятся на высоких стеллажах: история, этнография, путешествия, словари и — стихи, стихи, стихи. В коврах, что сви-

сают со стен: салорские розы, пендинские и текинские гели — подарки его далеким друзьям, образы Туркмении («его второй родины») — скажет позже Н. Тихонов). Скрестились на коврах ружья, кривые бухарские сабли, турецкие ятаганы, старый клинок из Толедо с пометкой «1874» — его подарил поэту комендант крепости Кушка, бывший будапештский садовник Сабо.

И еще Владимир Луговской — весь! — вот в этой фразе из дневников Льва Толстого: «Чтобы жить честно, надо врать, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно бороться... а спокойствие — душевная подлость». Фраза эта крупным машинным шрифтом напечатана на узкой полоске бумаги и лежит под стеклом на необъятном рабочем столе поэта.

Слова Л. Толстого могут служить своеобразным эпиграфом к исследованию жизни и творчества Владимира Луговского — одного из выдающихся мастеров нашей многонациональной советской поэзии. Он работал рядом с такими блестящими художниками слова, как Маяковский и Сельвинский, Багрицкий и Асеев, Тихонов и Кирсанов. Были у него — молодого, только-только замеченного Луначарским поэта (в 1925 г. по его рекомендации в «Новом мире» напечатали первое стихотворение Луговского «Год двадцатый»), — и ошибки конструктивизма, и поиски, не приводившие к большим находкам («Словохи»), «Страдания моих друзей»),

и болезни роста (сборник «Европа», в котором явственно копировалась стилистика заграничных стихов Маяковского). Но одно никогда не произошло в поэзии Луговского — «спокойствие — душевная подлость»: в творчестве он всегда жил честно.

О своем многосложном поэтическом постижении мира, исканиях, горьких ошибках и счастливых обретениях на закате дней Владимир Александрович скажет пронзительными стихами «Вступления» к грандиозной книге поэм «Середина века»:

Передо мною середина века.  
Я много видел. Многого не видел.  
Вокруг не понял и в себе не понял.  
В душе не видел, на земле не видел.  
И все ж пойми, — вот исповедь моя:  
Я был участником событий мощных  
В истории людей...

И далее шла эта страстная поэтическая «исповедь сына века» — свидетеля грандиозной ломки старого мира и рождения — в огне, в страданиях, утратах и победах — мира нового, социалистического, в котором «навечно воцарилась юность».

24 поэмы включил В. Луговской в свою «главную книгу». Всего лишь 24 из 59-ти завершённых (я видел их в рукописи — в большой желтой папке в кабинете поэта)... Каким суровым судьей са-

мому себе должен быть поэт, чтобы оставить в своем рабочем столе, не отдать в печать 35 законченных поэм! Некоторые из них были опубликованы уже после смерти Луговского — стараниями его друзей.

Вот как писал о книге «Середина века» Михаил Луконин: «...Вся она — одно дыхание, дыхание века. В ней сочетаются патетика поэтического монумента с конкретностью зримого мира, глубокие философские обобщения — с тонким лиризмом. Любовь и горе, героизм и падение, смерть и вечная юность мира — вот темы, проходящие через всю книгу. Чувство времени, свойственное Луговскому, высокая содержательность и эмоциональность его поэзии составляют единство всей этой «солнечной системы» поэм».

Но «Середина века» была, что называется, лебединой песней поэта: книга вышла посмертно, как бы завершая грандиозное здание поэзии Луговского. А шел он к ней, к этой великой книге, как уже сказано, трудными дорогами.

...Новая, незнакома я, большая жизнь вошла в его поэзию весной 1930 года. Из сутолоки и духоты рапсовых коридоров, в которых шли бесплодные споры о «диалектическом методе» в литературе и медленные ступки литературных группировок, Луговской вырвался на необъятные просторы молодой Туркмении — вместе с друзьями по знаменитой Первой бригаде советских писателей. В Туркмению он

влюбился, как писал позже Н. Тихонов, «...бурно, сразу, как влюбляются с первого взгляда... Его романтический характер, его энергия, требовавшая большого движения, нашли здесь все, что требовалось для создания настоящих, живых, полнокровных стихов».

И стихи эти родились. Книга «Большевикам пустыни и весны» вобрала в себя горячее солнце юга, ярчайшие его краски, удивительные человеческие судьбы, широкое и мощное дыхание «синего ветра» революции — той великой Революции, что преобразовала край, названный поэтом «колыбелью оптимизма». Оптимизм был во всем — и прежде всего в созидательном труде работников пустынь, полей, воды, границы, в том, как молодые женщины сжигали на кострах борыки и яшмаки, как трактора валили на полях дувалы — эти «стены отчуждения и ненависти»...

В Луговской и в последующие годы не раз приезжал в Туркмению, накрепко связав с ней свою поэтическую судьбу. За развитием туркменской поэзии он следил пристально и влюбленно, много переводил, писал статьи о нашей молодой поэзии. Но самое значительное у Луговского, связанное с Советским Востоком, конечно же, — четыре книги стихов «Большевикам пустыни и весны». Ни одно из вошедших в эти сборники стихотворений не было написано в тиши кабинета, тому свидетельство — испянные карандашами десятки блокнотов. Большие и маленькие, в переплетах картонных и кожаных, иные и вовсе без обло-

жек — стопками громоздятся они на рабочем столе поэта. А вот эту тетрадь в крупную клетку я видел в больших ладонях Луговского в Мары — осенью 1954 года на вечере памяти Шали Кекилова в женском пединституте — был тогда такой вуз. Да, да, вот эти строки, отвернувшись к окну, писал он в тот день своим торопливым летящим почерком и потом читал со сцены:

...Осень, и листья  
чуть-чуть звенят,  
Занат за окном  
полыхает неистов.  
Вы счастливы  
будете во сто крат.  
Вы — дочери Партии  
Коммунистов...  
Этим огнем далеко свети.  
Он в синий простор  
улетает как будто.  
Все перед вами открыты  
пути,  
Студентки Марыйского  
пединститута.

...Видел я Владимира Александровича у геологов на озере Ясхан, в Керки — у строителей Головного, в Небит-Даге, который он любил особенно, в Ашхабаде — на сессии Академии наук. Он всегда был жадеи до жизни, до новых людей и встреч, новых впечатлений, и у него всегда было много друзей — строителей, пограничников, ученых, поэтов, изыскателей, работников песков, воды, земли...

Именно поэтому, как бы итожа жизнь свою, он имел право сказать:

Да, весь я твой, живое  
время, весь

До глуби сердца, до  
предсмертной мысли.  
И я горжусь, что вместе  
шел с тобой,  
С тобой, в котором  
движущие силы —  
Октябрь, Народ и Ленин,  
весь я в них.  
Они внутри меня. Мы  
неразрывны...

Это все из той же «Средины века», которую В. Луговской так и не увидел изданной. Он умер в Ялте 5 июня 1957 года. Есть там у моря скала, о которую разбивается ценный прибой. На скале высечен барельеф Луговского, а в каменной глубине покоится сердце поэта, — таково было его завещание. Но в скале похоронен лишь маленький комочек плоти. Свое большое сердце Луговской подарил нам, современникам и потомкам: оно в прекрасных книгах поэта, которые переживут годы.

Хабиб ГУСЕИНОВ.